

Я не прочел бы Оруэлла, Ницше, Пруста. Себя бы не прочел. Что делать?

За продолжение жизни мы платим старостью. За старость платим смертью. За право поведать, как взрослым станет сын, услышать, что он скажет, я должен был болеть, лечиться, кашлять. Но я обязан был увидеть другую жизнь. Отели, яхты, переполненные магазины, автомобили, лезущие друг на друга, японский рыбный рынок, греческие острова, Карнеги-Холл — как бы увидел, если бы не постарел? Я много дал. Я дорого купил. Я заплатил годами, силой, остроумием, успехом, женщинами, красотой ранней смерти, столь любимой у нас в стране, — остаться в памяти красивым, сильным, молодым.

Нет, я выбрал путь труднее. Я старел, седел, ушел из ежедневного употребления. Я отдал все, чтоб только посмотреть газеты: "спонсоры", "помады", "памперсы", "суд присяжных"... То, что увидел, повидав.

А этот вопль — "Я не хочу быть стариком!"? Ну, что ж, стой в очередях советской власти, ищи еду, лекарство, отсиди за анекдот.

Ты был на минном поле. Проскочил. Все позади. О, Господи, прости на самом деле, извини, я серьезно — прости! Я забираю крик обратно, я прошу там наверху не обижаться. "Дай мне обратно!" "Дай сюда!" "Дай сюда!"

Есть разница?

Тогда я был специалистом. В той жизни мы на равных и кто кого когда имел. Сейчас смотрю, пишу, перемещаюсь, но не лезу в жизнь. Поглаживаю по головке тех идиотов, кричащих моим голосом "Я не хочу быть стариком!".

Успокойся — и не надо.



"Война и мир" Михаила Жванецкого

Отовсюду слышу: он не писатель! Феномен, да, но не писатель! Почему не писатель? Отвечают: потому что я читать его не могу! Глазами по строчкам читать — не могу! Мешает авторская интонация.

За что боролись — на то и напоролись. Слава настигла героя с неожиданной стороны. И памятник ему должен стоять только так: фертом, на эстраде, с рассыпающимся текстом в руках. И мы будем слушать знакомые тексты — в записи или, кому повезет, вживую. С настроем посмеяться.

Интересно получается: смех отключает мысль. Сочувствие, сопереживание, второй и третий план он отключает. "Зачем... напрягаться, раскусывать намеки — это уже будет не отдых, это уже будет не воскресенье". Жванецкого воспринимают как воскресенье — а он, наоборот, сугубый понедельник.

Автор пробует бороться с этим несоответствием, робко намекая на "шутки, вызывающие улыбку сострадания". И даже не робко намекает, а прямо говорит: "Теперь, слава Богу, даже самый зубастый сатирик в полной безопасности. Зритель правильно понимает его и свою задачу и настраивается на веселый лад. Смеются все. Смеется и тот, в кого вы пустили свой жуткий заряд". Вот ты, в третьем ряду, по центру, ощупай себя, — не ранен? Однако животы уже трясутся, и раскрытые рты извергают разнообразные звуки, объединяемые словом "хохот". А для чтения мы возьмем с полки эпопею — "Войну и мир".

Я читаю собрание произведений Жванецкого, как четыре тома "Войны и мира". Только у Льва Николаевича я "войну" пропускала, — а у Михаила Михайловича война как раз самое интересное. Или не так: нет четкого разграничения между войной и миром, вся жизнь — театр. Военных действий. Автор справедливо опасается, что в хохоте зрительного зала утонут разрывы мин и стоны тех, кто подорвался, и позволяет себе высказаться прямым текстом: наш человек "так помнит войну, что уже не представляет себе жизни мирной".

Среди тех, кто "в драке не выручит — в войне победит", мыкается главный герой Жванецкого — капитан Тушин. Одинокий интеллигент, ведущий свою войну на забытой всеми батарее. С кем война? Перечислять долго, портреты "врагов" — визитная карточка Жванецкого номер один. По этим портретам и узнаваем. Склонясь над картой фронта (Первого

Украинского, Второго Белорусского, Пятнадцатого Всесоветского), автор маркирует действительность. По этим флажкам узнаем эпоху, ее пароли, данные Жванецким же.

"Ставь псису!"

"— Нормально, Григорий! — Отлично, Константин!" (У них с собой было.)

"Вы не Сидоров-кассир. Вы убийца!"

"И что смешно — министр мясной и молочной промышленности есть и очень хорошо выглядят".

"Доцент тупой".

Хамы, дураки, приспособленцы, дураки, начальники всех рангов и мастей, бюрократы, дураки, воры и воришки, дураки, дураки, дураки...

Тушин тоже дурак. В такое время в такой стране пытаться жить по чести, по совести? По писаным законам? Трусит наш герой: приносили откуда-то повестку, а он был в командировке. Что, что не так? "Кусок в горло не лезет". Трусит — и бросается на амбразуру: "Алло, вы меня вызывали?". Милиция? Военкомат? Вендиспансер? "Алло, вы меня вызывали?" Герой-мученик. Живет на одну зарплату, в рабочее время по магазинам не ходит, "он — наше чудо... стихи читает, книжки дарит, чай пьет — идиот, в общем". Не понимает, что вокруг происходит. Или понимает — и все-таки отстреливается? Пытается защитить "прекрасность жизни"? Как мой любимый экскурсовод в дегустационном зале, — ведь сотни раз уже видел свинство и безобразие, и все-таки опять: "Товарищи... Это молодое вино, сохранившее аромат винограда и легкую терпкость, ощущаемую кончиком языка. Не глотаем. Не глотаем, набираем в рот глоток, не глотаем, а спокойно перекатываем во рту...". Какое там спокойно! Все уже нажрались! Очень смешно описано. Вроде как всем выпить охота, а он, дурак, уговаривает перекатывать. Сквозь растерянное лицо специалиста по дегустации проглядывает автор: "Такого чтоб забыть эту жизнь к чертям или как вы выражаетесь, у нас нет, для этого лучше эмигрировать". Или сивуха.

Тушин тоже эмигрирует. В мечтах? В мечты! Жванецкий (клише): жуир, жизнелюб, жизнехват. Глубинно — мечтатель: "...из подвижности — мечты, мечты, мечты о доме, саде, заборе, камине". Кто сказал: не мечтать, а действовать? Семидесятые годы: действует тот, кто охраняет аптеку и имеет вату. Министр мясной и молочной промышленности действует. Тот, кто квартиру пробивал через горисполком, тоже действовал. Теща умерла, зять подселился, все в одной комнате, — жизнь прошла. Дом, сад, забор, камин — в мечтах. Мечтать — ночью. Ночью жизнь перекраивается

с общественного лекала на личное: "Всем, кому не ответил днем, отвечаю сейчас... скупо, точно, сжато, остроумно — характерно для меня!". Кому не знакомо это мучительное "остроумие на лестнице"?

Герой Жванецкого — человек под давлением. Его испытывают "высоким давлением", а он корчится, корячится (как средневековый карлик, которого для потехи королей вырастили в кувшине) и все пытается как-то распрямиться, вывернуться, уберечь свое "я", свои "честь и достоинство".

В нелепых стараниях уберечь уязвленную самооценку, в мечущемся, слабом человечке узнаем свое, себя. Гоголевское (здравствуйте, Акакий Акакиевич!) смыкается с чеховским — "раба по капле".

Многое, что осознается нами как открытия социологов, озарения философов, достижения серьезных писателей, — намечено Жванецким. Или даже не намечено, а сказано вслух — отчетливо и мастерски, характерно для него! — но пропущено мимо ушей, утоплено во взрывах смеха.

"То, что мы приобрели, укрепив женщин, мы потеряли, ослабив мужчин", — кому-то это тридцать лет спустя покажется банальностью, воинствующие феминистки еще будут до этого дорастать.

У Венедикта Ерофеева в знаменитой поэме "Москва — Петушки" кроме пения ангелов более всего услышана мечта о счастливом крае, где не всегда есть место подвигу. Военный журналист Жванецкий твердит об этом давно и упорно: "...где-то рвануло, где-то упало, где-то сломалось. И всегда найдется он. Он выгащит. Он влезет. Он спасет... Иногда подвиг одного — это преступление другого".

Роман Виктора Пелевина "Из жизни насекомых" вниманием критики не обойден. Хороший роман. Но у Жванецкого — раньше и короче. Все пелевинские комары, мухи и гусеницы — как "Камасутра" на рисовом зернышке — закуклены в одной миниатюре восьмидесятых: "Маленький вентилятор".

"Маленький вентилятор для закрытых помещений — несколько ос, связанных вместе на палочке, — жужжит и обвевает. Только их надо аккуратно кормить и каждую на веревочке держать, в крохотных ошейничках с вензелем "МЖ". Их четверо: Зина, Олечка, Люсечка и Константин.

В записной книжке, в корешке, живет светлячок Геннадий Павлович, который по ночам ползет впереди и освещает ярче или темнее, в зависимости от вдохновения, только его тоже нужно кормить и обязательно прочищать животик кисточкой, смоченной в молоке.

А странички перелистывает обыкновенная гусеница, которую тоже надо кормить, но держать не на веревке, потому что ее и так преследуют..."

Цитирую "Вентилятор" практически полностью — для тех, кто утверждает, что обсуждаемого автора можно только слушать, а также для любителей современной "малой прозы" и новеллы абсурда. Жванецкий, семидесятые!

В миниатюре "Не выделяться" из-за маски коми-трагического героя неожиданно выглядывает автор — с неистребимой мечтой "...заниматься своим делом: монологи, философские размышления, этюды о будущем, фантастика". Хотя его "войны" вовсе не "звездные", как фантаст Жванецкий вполне состоялся.

"Специалист" и "В кулуарах" — монологи таких себе волшебников, которые все могут, всем помогают и все обо всех знают. Себе только помочь не могут. Скромно обедают, придерживая пальцем котлетку на черном хлебе — жест, характерный для автора. Подозреваю в образах этих богов-неудачников частицу авторского "я": кто-то же собирался "устранять недостатки нашей жизни путем чтения вслух художественных произведений"? Чем не фантастика?

Милый пустячок: "стройность женщин сохранится (пророчествовал за тридцать лет до), но необходимость вызывать огонь на себя приведет к фантастической одежде, открывающей одну ягодицу". За тридцать лет до конца двадцатого века (да еще в СССР!) жутко было смешно! И немножко неприлично. И никто не верил... Если в начале двадцать первого века вы листаете глянцевые журналы и время от времени смотрите передачу "Мир моды" (я смотрю), то вполне имеете возможность эту одну голую ягодицу наблюдать. Новелла "Мне показалось" (как раз о времени, в котором сейчас живем) вообще изобилует точностью попаданий: в правдоговорящих видят городских идиотов, никто их не боится, грамматика исчезает, секс помолодел, сократился, принял спортивный характер. Вот алкоголь пока, слава Богу, не в таблетках. А так: попал, попал, опять попал!

"Турникеты" — практически Оруэлл. "Контроль личных сумок — даже и не надо в каждом доме, только в узловых пунктах: подземный переход, вокзал, базар...". Додумывает ситуацию до логического конца или доводит до абсурда — что, собственно, одно и то же. Страшные, парадоксальные вещи говорит. Вот вроде бы выстраивают всех — фотографироваться. Детки впереди, родители на стульях. "Мамаша, возьмите на руки маленького, чтоб не заслонял... А вы почему не хотите... Улыбайтесь. Пусть вы останетесь веселым... Все улыбаются. Внимание. Пли!" Большой шутник.

Фантаст — без дураков. Напоминает, прогнозирует. Прогнозируя, напоминает.

У Людмилы Петрушевской поражает ужасом и точностью предвидения рассказ "Новые Робинзоны": глава семьи предугадывает наступление диких времен развала экономических связей, возвращения в первобытное состояние, грабежа и насилия — и уводит свою семью в леса, стараясь запастись пищей, свечами и мылом, всем-всем, что может пригодиться, когда не станет ничего.

Почему же этого ужаса предвидения никто не услышал в надрывно-хвастливым монологе: "Все в квартире держу — картошечка, лучок, мучка... Ванна всегда полная. Вдруг — с водой? Есть, есть — и нет, нет.

Свечечка наготове. Лампочка — тюк, а у меня свечечка и спичечка... А вдруг таким снегом занесет, что мы не выйдем никуда?.."

Некоторых таки занесло.

И жизнь — как та вода: "есть, есть — и нет, нет". Сквозная тема Михаила Жванецкого — исчезновение жизни, просачивание ее сквозь пальцы, проживание впустую, "нечувствительно". Даже не "есть — нет", а "будет, будет — так и не было!". Эта тоска по несбывшемуся — скорбь по себе, убогому, ленивому и нелюбопытному — порождает поэтический сплав иронии и лиризма, парадоксальный, безжалостный, страдающий.

Вполне фантастический рассказ "Как делается телевидение". Разве он о чудесах монтажа? Или о лживости средств массовой информации? Это же плач о тех, кто живет не своей жизнью и слабо подозревает, какой должна быть своя. Женщина, глава показательной семьи: "сына нам подмонтировали из другой семьи... руки на коленях не мои, руки мужские... а колени женские, тоже не мои — их взяли из передачи "Здоровье"... а в конце передачи и лицо не мое — актрису такую нашли под Душанбе...".

Особенно быстро ощущается бег песочка в часах жизни, когда смотришь на себя в зеркало. И Жванецкий особенно безжалостен в своих "Портретах" и "Автопортретах" (художника сорока четырех). И так остро, так преждевременно переживает старость, примеривается к ней: "вместо глаз — очки... вместо любви — диета... вместо сообразительности — мудрость...". Или: "А в основном это люди, смирившиеся с одиночеством, твердо пропахшие жареным луком, и только не дай Бог если телефон откажет или будет стоять далеко от кровати...". И это написано в семидесятые годы о сорокалетних! Или тогда граница старости определялась по-другому? Пожалуй, не биологическая граница, а социальная. Чего мог ждать сорокалетний Түшин в своем, допустим, НИИ — на своей забытой батарее?

"Я никогда не буду высоким.

И красивым. И стройным.

...И фильм не поставлю.

И не получу ничего в Каннах.

Ничего не получу — в смокинге, в прожекторах — в Каннах".

Как виртуозно взлетает интонация на этом "в смокинге, в прожекторах", — в мечтах все было! Так явно, так выпукло было — "в смокинге, в прожекторах, в Каннах"! Так высоко взлетает — и шмяк мордой в действительность!

А ведь это действительность Жванецкого, где все-таки какие-то прожектора, и фертом на эстраде, и все любят, и хлопают, и хохочут как ненормальные... После этого за себя становится особенно обидно. Но затормозишь, перечтешь и врубишься в банальное, но неочевидное: у каждого свои прожектора, свои Канны, а ощущение "нераспробованности", "недожитости" единственной жизни — общее для каждого читающего и думающего. Не одна я такая закомплексованная.

Хам у Жванецкого смешон и страшен, интеллигент-слабачок — смешон и жалок: "обидно огорчать столько людей чем попало, самой жизнью своей". Обнаруживая в этой "жалкости" свои черты, мы обретали некое чувство общности, неодинокости. В этом миниатюры Михаила Михайловича сродни бардовской песне — они дарили нам ощущение некоего окопного братства.

В своих окопах будем читать и думать. Тормозить при чтении. Да, фраза Жванецкого стремительна и легка, она проносится в мозг, как мотоцикл по треку: вжик — и нету! Она стрекочет, как кинолента, стремительно разворачивая перед нами сменяющиеся кадры, — и на слух едва успеваешь отследить смеховые моменты, зачем и пришел на концерт, сел к телевизору, включил видик. Так я же и повторяю: надо читать. Потому что фраза Жванецкого стремительна и легка, но что в ней? "О жизнь моя, побудь со мной!"

Легко, стремительно, характерно для него, Жванецкий останавливает мгновение: "Чуть добавил майонезу и начал перемешивать деревянной ложкой. И еще. Снизу поддевал и вверх. Поливал соком образовавшимся — и еще снизу и вверх". Но даже больше справедливо восхищающего всех неторопливого и вдумчивого перемешивания мне дорога фраза, останавливающая внимание именно при чтении: "Умылся тепловатой водой под краном". Тепловатая вода в жаркий день — фу! Что в ней хорошего? Это — жизнь. Жить — хорошо. Тепловатая вода — хорошо. Лучше, чем та студеная летейская (извините за пафос) струя, которая смывает нас когда-нибудь потом, после какого-нибудь "Воскресного дня".

Уговаривая жизнь задержаться еще ненадолго, Жванецкий изобретает поразительный прием превращения звука в изображение.

"— Я хожу по Одессе, я не вижу ничего интересного.

— Вы и не увидите, надо слышать".

И он слышит — и через звук предельно минималистски подает характер: картавый-шепелявый капитан, "цицируете", "вы обдумываете, как это описац?", "шешешят" и этот несчастный "оценъ смесной целовек". И в нескольких фразах — судьба, и внешность, и отношение к жизни.

"Что — смотри? На кого мне смотреть?.. Мама, ну перестань с ней знакомиться. Ты ей не нравишься... Что значит, она пришла ради меня? Мама, ну что ты к женщинам пристаешь?.. Я не хочу!" — и это мама — полная, одышливая, смертельно заботливая, и это сынок — перекормленный, затыканный, смертельно к этой маме привязанный. И это трагедия, драма, комедия одиночеств. Скорее всего, со смертельным исходом.

Портреты и судьбы, проблемы и характеры — срез эпохи мы можем восстановить по четырехтомнику Михаила Жванецкого. Сочиняя эти заметки, я жила во втором томе — томе своей юности (молодости... свежести...). Тогда мне было уютно в моем окопе. Том "Девяностые" открыла с содроганием...

